

глава 1

УЭСТОН

Я разучиваю новую пьесу на рояле, когда приключается она. Да, от нее такое чувство — как от Приключения. Только что я плыл в потоке нот, и вдруг дверь репетиционной распахивается, глухо стучается об ограничитель на полу, и вот она уже тут, и на шейном ремешке висит саксофон.

Последняя фортепианная нота все еще звенит в воздухе и ждет следующего риффа, когда Анна Джеймс подходит к скамье вплотную, и я читаю мольбу в ее карих глазах. А потом на меня обрушивается стремительный поток слов:

— Слушай, — начинает она, — я буду с тобой предельно честна, потому что иначе мне никак. Если я облажаюсь, это будет конец света. Мои родители расстроятся. Оркестр расстроится. Сама я расстроюсь. Просто пообещай: что бы мистер Брант ни сказал, ты согласишься! — серьезно добавляет она.

Может, она и Приключение, и ходячая буря, но с виду нормальная девчонка. Волосы темно-каштановые, глаза карие,

кожа белая, рубашка — будто не решила, подчеркнуть ее фигуру или, наоборот, спрятать, — и...

...Носки с рождественским рисунком? В первый день учебного года. В августе. Они выглядывают из-под джинсов, и линейные желтые помпончики свисают на узор с елками.

— Ты вообще знаешь, кто я? — спрашиваю я, пялясь на ее носки.

Вопрос серьезный — можно сказать, обвинение. В таком городишке, как Энфилд, в школьных коридорах каждого знаешь в лицо. И чаще всего фамильное древо одноклассника тебе известно не хуже собственного, до последней веточки — на концертах и школьных спектаклях, в которых класс принимал участие с детства, в зале сидят одни и те же бабушки, и дедушки, и родители, и дяди, и тети.

Энфилд — один из типичных, до нелепого крошечных те-хасских городишек, который считает себя христианским, и потому в нем церкви на каждом углу. Но все-таки главное святилище — футбольное поле в самом центре города, и вот туда-то, с августа по декабрь, все собираются поклоняться божеству кожаного мяча, и металлических трибун, и остывших сырных лепешек-начос, которые продаются в палатке, принимающей только наличку.

Так что Анна меня знает. Возможно, знает и мою фамилию, и мой средний балл успеваемости и уж точно в курсе «скандала» на весь город — развода моих предков — и «потрясной» истории, как я сбежал из-за этого в Блум.

И я ее знаю, смутно. Знаю, что в этом году она — по умолчанию первый саксофон. Что в оркестр она вступила не в пятом классе, как все, а только в девятом — я тогда уже был в десятом, — это случилось за год до того, как я свалил в Блум. Знаю, что ее родители еще женаты, потому что в Энфилде практически у всех родители женаты. И, по-моему, у нее есть младшая сестра.

Но знать всякое такое — все равно что не знать о человеке ничего. Да что там, черт возьми, две недели назад мы с ней были в одном оркестре в летнем лагере, и она со мной ни разу не заговорила. Тут она не то чтобы проявила оригинальность: со мной вообще никто, кроме Рацио и еще иногда Джонатана, если он вдруг вспоминал, что мы друзья, толком не заговаривал. А если и заговаривал кто, то лишь чтобы спросить, почему я сбежал в Блум и почему вернулся. А то они не знали, можно подумать. Можно подумать, им просто хотелось меня раскрыть на разговор про развод предков — добиться, чтобы я все рассказал.

Но ведь и никто из них не стоит ко мне вплотную в репетиционной. Только Анна Джеймс.

Она пристально смотрит на меня, склонив голову набок, а пальцы бегают по клавишам саксофона, и резиновые подушечки выбивают по металлу причудливое стаккато.

Она молчит. Чувствую неопределенность и пустоту. И страх — что она скажет? «Неважно. Я просто перепутала тебя с одним парнем». Или еще того хуже: «Ой, да конечно, я тебя знаю. Ты тот странный тип, который вечно рассекает в черной кожанке».

Но ничего такого она не говорит.

А когда обращается ко мне, то почти шепотом и у меня по рукам бегут мурашки.

— Я тебя знаю, Уэстон Райан.

Глупо, но я ей почти верю — и это несмотря на то, что учителя и чужие родители годами шушукались у меня за спиной, какой я весь из себя «одаренный, но со странностями», в музыке шарю, а вот в коллектив вписаться не могу. У меня даже получается притвориться, что двое моих лучших друзей не всегда общались со мной из жалости и снисхождения.

Я вдруг спрашиваю себя: интересно, Анна вообще в курсе слухов, которые до сих пор бродят, даже год спустя, — слухов, будто я, а не кто-то другой рубанул топором дурацкое школьное Дважды Мемориальное дерево?

Наверняка в курсе. Эту сенсацию напечатали на первой странице местной газетки, и все такое: «Варварски срублено дерево — символ будущего». В статье говорилось, что полиция разыскивает виновного. Еще там были разные словечки типа «злумышленный», «мстительный» и «пагубный» — а таких в газете не видели с тех самых пор, как девяностолетний мистер Саммерс в День благодарения отказался участвовать в баскетбольном матче студентов местного колледжа против преподавателей.

Юное деревце, которое студенты с любовью называют Дважды Мемориальным деревом, было посажено студенческим советом всего месяц назад — после того, как прошлой весной в первоначальное Мемориальное дерево уда-

рила молния. В течение года студенческий совет устраивал ярмарки выпечки, чтобы заплатить за новый саженец и выкорчевать пень, — и никто из энтузиастов даже не подозревал, что их старательная работа закончится трагедией. У старого Мемориального дерева была богатая история: оно занимало центр студенческой стоянки с тех давних пор, как на ней еще располагалась коновязь; новое Дважды Мемориальное дерево прожило меньше месяца.

Я это долбаное дерево даже пальцем не тронул. А почему подумали на меня — только потому, что кто-то услышал, как я говорю Рацио: «Туда ему и дорога». Это когда он мне сообщил, что дерево срубили. И имейте в виду, сказал я так только потому, что выглядело новое дерево хлипким — даже мягкую тexasскую зиму не выдюжит, вот что я имел в виду. Такое и веточкой назвать — слишком щедро будет. Оно, может, вообще скукожилось и само со стыда померло.

Ну и, когда я на следующий учебный год перевелся в «Блум», слухи начали бродить с новой силой.

Но Анна смотрит на меня вовсе не как на убийцу деревьев, который бежал из города, погубив растение муниципального значения. Она смотрит так, что я почти, почти, почти верю: она видит меня настоящего сквозь все это наносное, слухи, обвинения, историю с деревом. Сквозь все.

Но тут нас прерывают. Дверь открывается — гораздо тише, — и входит руководитель нашего школьного оркестра. Теперь в крошечной репетиционной тесно: рояль, мой чехол

с мелофоном* и рюкзак, Анна со своим саксом и мистер Брант со своей окладистой бородой.

— Уэстон Райан! — начинает он. — Удивительно, вы — и в школе после уроков.

Я неопределенным жестом указываю на ноты на пюпитре:

— Репетирую, сэр.

(Лишь бы не торчать в пустом мамином доме, сэр.)

Мистер Брант кивает, переводит взгляд с меня на Анну и обратно.

— Хорошо. Анна сказала мне, что вы ей поможете разучить дуэт, который вам предстоит исполнить в рамках нашего концертного номера. Все верно?

Анна отходит от меня и встает рядом с мистером Брантом. Не могу понять: легче мне стало дышать, когда расстояние между нами увеличилось до приличного, или нет? Она все так же многозначительно и умоляюще смотрит, стискивая пальцами горло сакса, и от этого ее взгляда у меня внутри все переворачивается.

Но приятно или мучительно переворачивается, я разобраться не успеваю: не до того.

— Конечно, — ляпаю я, не успев осмыслить. Согласился, даже не подумав.

* Мелофон — медный духовой инструмент, использующийся вместо валторны в американских духовых оркестрах, поскольку он меньше и с ним легче маршировать. У валторны есть второе название — «французский рожок», более старинное. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

И это мне казалось, будто глаза Анны сияли! Да я просто не видел, как они сияют, когда она улыбается! Такие лучистые. Ощущение, будто я увидел первых за лето светляков.

Мне даже захотелось ответить улыбкой.

— Превосходно. Очень хорошо, — произносит учитель. — Вам надо приниматься за дело. И побыстрее, понятно? Иначе партия Анны перейдет Райланду, а тогда ему понадобится время, чтобы разучить ее, и...

— Да, сэр, — откликается Анна. И взглядом умоляет меня посмотреть на нее.

— Угу, — говорю я.

Мистер Брант поднимает бровь:

— Не знаю, что вам сходило с рук в старом добром «Блуме», мистер Райан, но в оркестре «Энфилдские смельчаки» руководителю междометиями не отвечают.

...«Блум». Длинные-предлинные коридоры, ни Джонатана, ни Рацио, и на оркестрантах форма не того цвета, и все они называют меня Гонщиком, и из школы я возвращаюсь в дом, где не двое родителей, а только один...

Вот от последнего воспоминания я мысленно шарахаюсь. Спасибо, вовремя вспомнил, что Анне Джеймс лучше вообще не находиться рядом со мной. Если мама с папой не сумели справиться, то и у меня никаких шансов нет. И никогда не будет.

От этой мысли в груди возникает пустота.

— Да, сэр, — отвечаю я мистеру Бранту.

Он снова кивает — и вид у него едва ли не извиняющийся. Так себя ведут все учителя с тех пор, как я вернулся в Энфилд в выпускной класс.

— Прекрасно, — говорит мистер Брант. — Договорились. Следующие несколько недель я буду время от времени проводить, как у вас продвигается дело. В этом году мы принимаем участие в конкурсе штата. И не можем позволить себе облажаться.

На этом он поворачивается и уходит, но тяжелую деревянную дверь не затворяет. Мы с Анной остаемся наедине — и в молчании, которое ни один из нас не нарушает, надеясь на другого.

— Спасибо тебе, — наконец произносит она. Стоит сейчас не так близко, как тогда, когда только приключилась со мной. Но делает шаг вперед. — Я думала, ты не согласишься...

Улыбается робкой улыбкой, и, хотя мне следует держать дистанцию, я хочу снова увидеть, как лучатся ее глаза, и потому произношу:

— Но ты ведь знаешь меня, Анна.

Смеется. Грудным, громким, чудесным смехом — без стеснения. Слишком чудесным.

— Знаю, — отвечает она. — Знаю.

Мне бы промолчать, но я не могу.

— Скажи что-нибудь, что знаешь обо мне, — говорю приглушенно, чтобы несколько ребят, которые болтаются в музыкальном зале, меня не услышали.

— Что-нибудь одно?

— Одно.

Анна снова смотрит в упор — и снова так, что у меня в крови вспыхивают искорки.

— Тебе с длинными волосами лучше.

Я провожу ладонью по своей стрижке ежиком. Зря, конечно, так коротко обкорнался, а все потому, что скука накатила и под-вернулись триммеры, которыми мама стрижет собаку, а еще захотелось все-все изменить. И если я не властен над разводом родителей или над тем, как со мной обращаются ребята в летнем лагере, то уж хотя бы решить, как мне стричься, имею право.

Возможно, право я и имею, но делать этого мне не стоило.

— Да ничего. — Анна улыбается. — Они ведь отрастут?

Мы обсуждаем всего-навсего прическу, но воздух потряскивает от напряжения так, что, клянусь, мне мерещится запах дыма. Не знаю, какой Бог ведает шестью церквями, которые выстроились вдоль главной улицы Энфилда, но сегодня он, похоже, на моей стороне, потому что у Анны звонит мобильник и тем спасает нас от слишком уж личного разговора. А может, Господу просто виднее, как лучше, и у него есть план или что-то такое — держать Анну от меня как можно дальше.

— Блин, — говорит она. — Надо бежать, иначе опоздаю к ужину. У нас сегодня вечер куриных наггетсов. Ну, до завтра?

Можно подумать, это под вопросом. Можно подумать, мы не должны быть на репетиции каждое утро ровно в шесть.

— До завтра, — отвечаю я твердо, но она улыбается.

Внутри у меня грызутся два волка: один хочет оттолкнуть ее, а другой — проверить, сумею ли я добиться от нее улыбки.

Они рвут меня на части.

Я вздрагиваю.

Я ей не помощник.

Дуэт с ней может разучить Рацио: он играет на мелофоне. Получится ничуть не хуже, чем со мной. Даже лучше, потому что Рацио — гордость Энфилдской школы, наш вундеркинд.

Складываю рюкзак, а сам неотступно думаю об Анне. Репетиционная, которая еще недавно казалась мне тихим святилищем, укрытием, теперь какая-то слишком пустая и покинутая.

«Не хватало тебе отвлекаться еще и на это!» — говорю я себе. Мне нужно продержаться до конца выпускного года, тогда я смогу выбраться из Энфилда и отправиться куда-то еще. Туда, где всем без разницы, что твои предки разведены, и где никто не смотрит на тебя жалостливо, потому что помнит времена, когда они еще были женаты. Куда-то, где люди живут не сплетнями.

Еду домой, стараясь не обращать внимания на тьму, сгустившуюся в животе. Завтра уговорю Рацио порепетировать с Анной. И все станет нормально, как раньше.

Мама утром укатила в очередную командировку, а потому, когда я переступаю порог, дом гулкий и пустой, как пещера. Безудержному пожару, который полыхает у меня под кожей с самого развода родителей, тут есть где развернуться — он пожирает комнату за комнатой, покрывает черной копотью рояль — подарок от мамы с папой мне на семь лет, сжигает мамины картины в рамах, которые папа смастерил сам в сарай-

чике за домом, и это адское пламя уничтожает мои детские воспоминания одно за другим.

Не могу понять, мне больно, что они сгорают, или мне без них легче. Мама перед отъездом всегда оставляет в холодильнике целый склад дурацких полуфабрикатов, но штука в том, что готовить их надо самому.

«Легко! — обещает упаковка лимонно-куриного ризотто. — Просто и приятно!» В инструкции по приготовлению ничего простого и легкого. Так что я просто откапываю в кладовке коробку лапши быстрого приготовления и сую ее в микроволновку.

На разделочном столе — записка маминым идеальным, аккуратным почерком:

*Я в Цинциннати до пятницы. Если поедешь к отцу,
сообщи. Вынеси свои коробки с чердака и разбери.
Вывоз крупного мусора — на следующей неделе.
Люблю до неба и обратно.*

Мама

Она не говорила, что собирается продать дом, но продажа неминуемо надвигается. В комнатах слишком прибрано, в посудных шкафчиках почти пусто. В гостиной пахнет краской, и я вижу, где именно мама освежила стены.

Готовую лапшу я несу в свою комнату, а про коробки на чердаке забываю. Но мама, похоже, предусмотрела, что так и будет, а потому заранее выстроила их прямо перед дверью — чтобы я не мог войти.

Нет, серьезно?

Отгибаю картонные створки. В основном в коробках старая скаутская форма, всякие призы, которые я наполучал на музыкальных выступлениях еще в начальной школе, и неуклюжие рисунки — я изображал индеек и деревья, ладонями и пальцами размазывая краску. Нашлась пластиковая папка с моим рефератом по биологии за девятый класс. На обложке гордая надпись: «Чешуегорлый мохо*. Реферат Уэстона Райана» — и под ней большая картинка с птицей, отрисованная по квадратам.

Папка сама раскрывается в руках, и я уже собираюсь сунуть ее обратно в коробку, когда взгляд мой цепляется за последнюю страницу.

Чешуегорлого мохо в последний раз наблюдали в дикой природе в 1987 году — одного-единственного самца, который считался последним представителем вида после того, как самка погибла во время урагана. Когда ученые включили запись пения чешуегорлого мохо рядом с предполагаемым местом гнездования птицы, самец вылетел к ним. Птица решила, что она не одна и что кто-то из ее семьи еще жив.

Остальные коробки я отпихиваю от двери к лестничным ступенькам — разберу и отнесу вниз попозже, — но реферат о чешуегорлом мохо беру с собой.

* Чешуегорлый мохо (*Moho braccatus*) — вымерший вид певчих птиц семейства гавайских медососов, эндемик острова Кауаи.

Потом, ночью, лежу без сна и мои мысли снова и снова, как одержимые, возвращаются к одинокой птахе в гавайских лесах. Знала ли она, что осталась последней, единственной? Горевала ли? Вспыхнула ли в птичьем мозгу искорка надежды, радость узнавания, когда мохо услышал знакомую песенку?

Я думал, что чешуегорлый мохо мне еще и приснится, но вместо этого в моих снах приключились носки с рождественским рисунком и девчонка, которая носит их в августе.

глава 2

анна

Когда мы только переехали в Энфилд, мне тут жутко не понравилось.

— У меня здесь нет друзей! — заявила я маме, пока она распаковывала кастрюли и сковородки, а папа разворачивал тарелки, укутанные в газеты.

— И что я должна предпринять? — мама метнула в папу взгляд, означающий «теперь твоя очередь».

Он потрепал меня по плечу и улыбнулся.

— Почему бы тебе не вывести Миш-Миша на улицу и не показать ему задний дворик? — предложил он. — Он наверняка боится, и ему нужно, чтобы ты объяснила: мы приехали сюда, потому что тут заживем лучше.

— Глупая затея, — отмахнулась я. Но подождала, пока родители отвлекутся на Дженни, и выскользнула за дверь. Вынесла Миш-Миша в огороженный дворик — всего пол-акра — и, гуляя с ним по периметру, шепотом рассказывала про фуругоны для переезда и про прощания в слезах. Но добавила, что здесь нам будет хорошо. Что на новом месте будет еще луч-

ше, чем на прежнем. И тяжесть, которая сидела у меня в груди, растаяла.

Друзей у меня в Энфилде не было, зато было кому меня выслушать. А это почти так же хорошо. Даже лучше. По крайней мере, так я себя убеждала.

На утренней репетиции я замечаю, что Уэстон то и дело меня разглядывает. После пробежки-разогрева я улыбаюсь ему. Уэстон тоже едва не отвечает мне улыбкой, что-то светится у него в глазах, но он тут же отворачивается.

Мы на учебной площадке, где асфальт расчерчен сеткой, примерно как на футбольном поле — с ярдовыми* линиями и зачетными зонами. По ним мы ориентируемся, занимая свои места во время программы, словно капитаны кораблей, только те прокладывают курс по звездам, а мы наносим на карту нужное количество шагов, отсчитывая их от крестиков на белых боковых линиях.

Мистер Брант возвышается над нами метрах в шести — в режиссерской будке, Рацио — под ним, на трехступенчатом подиуме тамбурмажора**, и оба листают объемные оранжевые папки с файлами, пытаюсь понять, отчего построение получилось каким-то кривым.

* В одном ярде 0,914 метра, или 91,4 сантиметра.

** Тамбурмажор (франц. tambour-major, от tambour — барабан и major — главный, старший) — первоначально главный полковой барабанщик, позднее — капельмейстер, задающий ритм духовому оркестру на марше.

А мы, марширующий оркестр «Энфилдские смельчаки», сорок три человека с инструментами, стоим в положении «воль-но», готовые в любую секунду сорваться с места.

В животе у меня все сжимается, и не только потому, что Уэстон Райан не в силах отвести от меня глаз.

Когда мистер Брант сообразит, почему наша здоровенная дуга выглядит кривой, придет время начинать музыкальный номер, а значит, скоро и наш дуэт. С Уэстоном Райаном.

Моим партнером.

Тем, кто нарочно старается не улыбаться мне в ответ... может, потому, что вчера в репетиционной я на него чуть ли не набросилась.

Я смотрю на него. Мы должны стоять ровно напротив друг друга — две крайние точки дуги, — но Уэстон шага на четыре позади меня. Остается только гадать, кто из нас перепутал разметку...

— Анна, — окликает меня мистер Брант. — Ты выдвинулась слишком далеко вперед. Проверь свою метку.

Щеки горят. Лихорадочно пытаюсь поймать буклет со схемами — он висит на шнурке у меня на шее, как у курьера, и болтается у самой талии. Я так спешу, что шнурок запутывается в ремешке саксофона, и секунду-другую мне кажется: сейчас я нечаянно задущусь.

— Мисс Неумеха, — шепчет кто-то из деревянных духовых слева от меня. Чувствую, как от злости вскипает кровь. Я не Неумеха! Не в этом году.

В оркестре я уже третий год — вроде бы звучит серьезно, но это если не знать, что остальные в нем играют с девяти лет.

Пока нас, горстку пятиклашек, которые, в отличие от остальных, не вступили в оркестр, таскали из одного банального арт-проекта в другой и загружали миллионом заданий, лишь бы не болтались без дела, мои друзья уже занимались в оркестровом зале средней школы и постигали премудрости четвертных нот, тональностей и динамических оттенков.

— Но почему ты все-таки не хочешь вступить в оркестр? — без устали донимала меня Лорен. В десять лет она уже была такая одаренная — настоящее везение — и гигантскими шагами приближалась к месту второй флейты. — У тебя шикарно получится! И на пятом уроке будешь тусоваться со мной, и Энди, и Кэтрин.

Донимала меня не только она. Мы росли; тех, кто играл в оркестре, то и дело прямо с середины урока отпускали на какой-нибудь конкурс, и учителя, которые знали меня сто лет, каждый раз поглядывали в мою сторону выжидательно.

— Поторапливайся, Анна.

— Я не в оркестре, миссис Томас.

— Да? Точно?

— Абсолютно.

Неудивительно, что они путались. Я ведь тусовалась с ребятами из оркестра. Ходила на все концерты. С учителями разговаривала с уважением, почтительно — отличительная манера оркестрантов, в которых мистер Брант неустанно вгонял страх Божий, чтобы не дерзили. Училась я хорошо и с удовольствием — даже думала, что, когда тебя называют учительским любимчиком, это комплимент.

Но частью оркестра я не была. Нет, я, как верный пес, поджидала у дверей репетиционной, чтобы взять у Лорен футляр с инструментом — или у Энди его сумку.

Оркестр и я напоминали пару в рождественском фильме: ты абсолютно точно знаешь, что им суждено быть вместе, но герои постоянно, раз за разом сталкиваются не вовремя, и, когда сюжет подходит к счастливой развязке под красивым снегопадом, ты диву даешься, как это они могли существовать порознь.

Но мы с оркестром вынуждены были существовать порознь. Финансовое положение нашей семьи раскачивалось словно маятник, от «совсем ни гроша» до «более чем достаточно» и обратно к режиму жесткой экономии на каждой мелочи.

После того как родилась Дженни, папа только и делал, что работал. Когда в новостях замелькали выражения вроде «экономический спад» и «уровень безработицы», я поняла, что дело плохо. Раньше мы каждые выходные отправлялись в ресторан, а в поездки — раз в год. Папа постоянно совал мне с собой в школу двадцатки на мороженое, и на кино с Лорен и Энди, и вообще на что душа пожелает.

Но теперь, даже хотя папа все время вкалывал, а мама подрабатывала секретаршей, на ужин мы всё чаще разогревали вчерашнее. Вместо летних каникул в Колорадо или Флориде довольствовались местным аквапарком. Папа — всегда папа — по-прежнему совал мне деньги, но от силы пятерку, а то и всего доллар и прибавлял: «Только маме не говори», и теперь это было всерьез. Мы не голодали, но я все понимала.

Когда Дженни уже начала ходить, а я перешла в пятый класс, жизнь у нас вроде как немножко наладилась. Папа получил место в новой полиграфической компании. Зарабатывал он меньше, чем раньше, но я слышала, как они с мамой шепотом обсуждали — со временем, когда он приведет новых клиентов, зарплату ему повысят.

Когда в том же году объявили набор в оркестр и к нам пришли старшекласники, сыграли нам, показали инструменты и дали попробовать на них поиграть, я была в восторге. Инструменты так сверкали! И, когда я воображала, как играю рядом с Лорен и Энди или с кем-то еще из друзей, в груди у меня теплело. Только подумать: с моих губ, с кончиков моих пальцев будет слетать мелодия!

Но потом нам раздали ярко-оранжевые листовки с расценками на аренду инструментов, на учебники с подготовительными упражнениями, концертную форму и частные уроки. Цифры, цифры, цифры... Я даже подсчитывать не стала.

Да, дела у нас в семье теперь были получше, но не настолько, чтобы хватило мне на оркестр.

В тот день, когда старшекласники уже ушли, на большой перемене мы сидели в столовой и я сказала Лорен и Энди, что хочу записаться не в оркестр, а на изобразительные искусства. А когда вернулась домой и рассказала родителям, что сегодня у нас открыли запись в оркестр и я туда не хочу, они спросили:

— Точно не хочешь?

— Точно-точно, — солгала я.

И мама с папой облегченно переглянулись, как только подумали, что я на них не смотрю.

Но оркестр был терпелив и ждал, и нашептывал из-за кулис, что, может быть, в один прекрасный день настанет черед музыки. В восьмом классе, весной, этот вкрадчивый шепот превратился в настойчивый зов — пришла пора записываться на факультативные занятия старших классов. Наша семья уже опять могла себе позволить путешествовать на каникулах. В ресторан мы ходили дважды в неделю, а еще время от времени папа приносил домой сэндвичи из закусочной BBQ и бургеры из Fixin' Burger — просто потому, что «звучало аппетитно».

Тогда я поговорила с мистером Брантом — а он всегда выискивал и выискивает дурачков-старшекласников, готовых положить жизнь на алтарь музыки, — и записалась в оркестр.

Этого я ждала с тех пор, как мне исполнилось девять. И вот теперь, когда я наконец в оркестре, я не могу провалить выступление.

Особенно если провал станет пощечиной для моих родителей, которые исправно платят за уроки и прокат саксофона, — и, если я облажаюсь, они расстроятся, ведь они так мной гордятся.

Особенно в этом году, когда проходит конкурс штата.

Особенно если провалить дуэт — значит утянуть за собой остальной оркестр и в целом облажаться.

Громкий звук из усилителя в задней части поля возвращает меня к реальности, и я прикидываюсь, будто ищу нужную страницу в своей методичке с разметкой, не нахожу — и делаю шаг

вперед, чтобы встать на одной линии с Уэстоном. Он смотрит на меня так пристально, что я чувствую, как покалывает левую щеку. Стоит мне взглянуть на него, он тут же слегка показывает головой вправо, и я отступаю на полшага в сторону. Еще один едва заметный кивок. Еще шажок. Еще кивок.

Может быть, он все-таки меня не избегает.

— Итак, оркестр. Пьеса должна быть разучена к пятнице, к матчу, всем ясно? А теперь давайте быстренько прогоним номер, и потом все пойдут в душ. Надеюсь, все уже выучили свои партии? — Ответа мистер Брант не ждет. — Хорошо? Отлично. Стойте на месте, но повторяйте шаги для первой половины номера. По вашему сигналу, тамбурмажор. Ударные, начинайте.

В животе у меня все скручивается. Над поникшей мачтой моего корабля прокатывается гром. Мистер Брант знает, вот точно знает, что дуэт я не разучила. Потому-то он и вызвал меня вчера после уроков в свой кабинет и заставил сыграть все от начала до конца, мучительную ноту за нотой, — и потому-то я наврала, что Уэстон согласился мне помочь, а сама его еще даже не спросила.

Мистер Брант что, правда думает, будто я вот так возьму и за один день все выучу? Я и не предполагала, что мне придется сыграть перед всем оркестром уже сегодня.

Но номер неумолимо приближается к дуэту, и вот прочие духовые стихают, уступая мне и Уэстону, и плавный поток музыки разбивается о твердую скалу фальшивых нот. Не то чтобы слишком звонких или слишком глухих — неправильных. Перепутанных, слипшихся и... фальшивых.

По-моему, я ни разу ни в одну ноту не попала.

Когда мистер Брант рявкает: «Стоп!», Радио уже прекратил дирижировать, да и все оркестранты успели опустить инструменты.

Мистер Брант командует: «Вольно!» — это официальный сигнал к перерыву, — а потом пригвождает меня взглядом к месту.

— Две недели! — голос его звучит зловеще и угрожающе.

Теперь на меня пялятся уже весь оркестр. Меня захлестывают волны всеобщего неодобрения, и я говорю себе: «Ты скала. Твердая скала — такие стоят целую вечность и сверху донизу поросли ракушками». Но сердце не слушается. Оно ворочается и дергается, как морская черепаха, которая запуталась в рыболовных сетях и отчаянно бьется в прибое.

Иногда, когда я чувствую, что не справляюсь с задачей, не дотягиваю до того, чего от меня ждут, тогда по мою душу приходят тени, густые, как тяжелые тучи. Они похожи на человеческие силуэты и зажимают мне рот так, что я не могу дышать.

И вот сейчас тени снова пришли за мной. Мне трудно дышать. И удушье усиливается, когда мистер Брант повторяет:

— У вас было две недели, чтобы разучить дуэт. На вечерней репетиции передадите ноты своей партии Райланду. А вы, Райланд, будьте готовы в любой момент сыграть эту партию.

Я смотрю туда, где стоит Райланд, и замечаю вытаращенные глаза Терранса и Саманты — новеньких саксофонистов, которые играют под моим сомнительным руководством пер-

вого саксофона. На маршах и концертах Райланд у нас первый кларнет, но он еще и первый саксофон в джазовом ансамбле.

Райланд смотрит на меня виновато.

Мир вокруг сжимается, давит, и, мне кажется, грудная клетка у меня вдавливается под грузом неловкости, и тени душат все сильнее.

В этом году я не должна была опозориться. В этом году я должна была наконец-то влиться в оркестр, добиться успеха, чтобы никто больше не дразнил меня Неумехой.

Проходит целая вечность, прежде чем мистер Брант объявляет:

— Оркестр свободен.

Все разбегаются, поскорее стремясь в душевую. Еще только начало учебного года, слишком рано для мокрых волос и мешковатых тренировок. Кое-кто из ребят помоднее даже подумывает устроить голосование и завести номинации «Одет лучше всех» или «Самый стильный», но такие штуки требуют времени, а время — драгоценная субстанция, и в утренней раздевалке запас ее крайне ограничен.

Лорен не задерживается, чтобы поговорить со мной, только наклоняет голову набок — молчаливый вопрос, — пока складывает свои ноты и флейту-пикколо. Безмолвный язык лучших подруг — она спрашивает: «У тебя все нормально?» — и я слегка улыбаюсь в ответ: «Да».

В целом и правда все нормально. Но в душе я застаеваю дольше, чем надо бы, — стою под струями тепловатой воды и напоминаю себе: ты хотела в оркестр, вот ты попала в оркестр,

тебе судьбой предназначено быть в оркестре несмотря ни на что и неважно, что нашептывают тени.

Вода стекает с моих мокрых волос по спине весь второй урок.

— Все не так уж и плохо, — говорит на большой перемене Лорен, пока мы едим ланч. — То есть лучше, чем в прошлом году, когда Тимоти за два дня до окружного конкурса заехал Лидии по затылку кулисой тромбона.

Я отколупываю корочку от сэндвича.

— Такое разве забудешь!

— А у тебя еще есть несколько недель, чтобы разучить свою партию как следует. Недель, не дней!

Обычно светлую сторону во всем стараюсь найти именно я, поэтому слышать такие рассуждения от Лорен как-то непривычно.

Энди молча, без спроса, отодвигает мой обычный йогурт и подталкивает ко мне свой, диетический, а через секунду — еще и печенье «Орео» в качестве извинения. Это у нас такая давняя договоренность, потому что его мама настойчиво сует ему в пакет с ланчем диетический йогурт (а он его называет «идиотический»).

Я уже пожаловалась друзьям, что в отчаянии, и рассказала, как чуть ли не силой заставила Уэстона мне помочь, и как он непонятно себя ведет, и в какой тупик меня загнало то, что мистер Брант потребовал отдать мою партию Райланду, и это на виду у всего оркестра!

— Ужасно интересно, как ты поладишь с Уэстоном, — сообщает Энди. — Этот парень такой странный.

— В каком смысле? — спрашивает Кристин. За нашим столиком она единственная девятиклассница, но мы ее принимаем, потому что она у нас в оркестре — гобой, всего один, и ее необходимо беречь и радовать. Гобой и так сложно встроить в оркестр, а если гобоист будет грустить за ланчем в одиночку, то тем более. — С виду он вроде нормальный.

— Он все время таскает эту кожанку. Ладно, кожанка сама по себе норм. Но в разгар лета?! Парень что, воображает себя Призраком Рокера или кем? Бред какой-то, — объясняет Энди, поедая йогурт. — Мы с ним занимались у одного и того же препода фортепиано, только в прошлом году Уэстон бросил. Могу подтвердить, что Уэстон жесть какой талантливый, но при этом до чертиков асоциальный. Так что парень реально странный.

— Точно, — подхватывает Лорен, и внутри у меня вспыхивает раздражение: она так охотно согласилась, а я готова поставить все содержимое своей копилки на то, что она ни разу с Уэстоном толком не разговаривала. — Давай лучше я тебе помогу? — Поворачивается ко мне. — Тебе же в общем не надо, чтобы он разучивал твою партию.

Уэстон Райан. Когда я сказала, что знаю его, то не хотела лгать. А получилось — солгала. На самом деле не знаю. Не так, как Лорен, или Энди, или кого угодно в школе. Уэстон похож на туман, который ранним утром стелется низко над полями, — он здесь, но никак не оседает.

Но все-таки я знаю достаточно. У меня есть несколько отрывочных воспоминаний — как вспышки — со времен первого года в старшей школе, до того как Уэстон уехал в Блум.

Вот он сидит в углу оркестрового зала и читает книгу — во время длинных летних репетиций. Вот Уэстон словно далекая планета на солнечной орбите, а солнце — это Рацио и Джонатан, те громко шутят и всегда готовы улыбнуться. Вот Уэстон не жалеет времени, чтобы поймать геккончика, который забрел в зал, где все шумно и суетливо собираются на футбольный матч, — и, сложив ладони ковшиком, бережно выносит его наружу, подальше от опасности.

Вот Уэстон после окончания финальной вторничной репетиции в прошлом году, стоит прислонившись к своему старому «форду-эксплореру» травянисто-зеленого цвета: кожаная куртка, длинные светлые волосы падают на лоб, когда он понуро опускает голову, а бледные длинные пальцы небрежно держат мобильник.

Я уезжала одной из последних, потому что в тот вечер была очередь моей группы убирать аппаратуру. Мне следовало тогда спросить его, что случилось, а я не спросила. Чтобы оказаться у машины, где меня ждала мама, надо было как раз пройти мимо Уэстона — но я ни слова ему не сказала.

Я знаю, что он не учился у нас в прошлом году из-за развода родителей, знаю, что год провел в ближайшем городке, Блуме, в школе, которая во всем наш конкурент, — и их оркестр тоже соперничает с нашим. Две недели назад в летнем музыкальном лагере ребята в шутку обзывали Уэстона предателем.

А он не смеялся.

Но, главное, я знаю, что все, за исключением Рацио и Джонатана, уверены: Уэстона надо терпеть или сторониться. Интересно, может, меня так мутит потому, что я знаю, твердо знаю: если бы только окружающим было известно, какие тени незримо нависают надо мной, хотя я каждый день прикидываюсь веселой и общительной, со мной бы тоже никто не дружил.

Поэтому я говорю Лорен:

— Ну вы же все заняты. Так что я это предусмотрела.

Тут к столу подходит Райланд, и Лорен с Энди и Кристин внезапно глубоко погружаются в свой отдельный разговор.

— Анна? Я хотел извиниться. Честное слово, я ничего не говорил мистеру Бранту насчет того, что заберу твою партию. Вот правда. Я не хочу играть дуэт.

В руках у Райланда поднос, и стоит он вполоборота к столу, точно готовится отшатнуться, если я разозлюсь, — до чего нелепо. Райланд сто раз подвозил меня на репетиции, когда я еще не получила права. Когда мы сидим в секции духовых, он постоянно шутит себе под нос, чтобы рассмешить меня, а еще все уговаривает вписаться в джазовый ансамбль.

Разозлиться на Райланда — все равно что разозлиться на щенка. Очень умненького и талантливого щенка.

— Я знаю, что ты не говорил, — откликаюсь я и кладу печенье «Орео» на свободный пяточок подноса. — Но, если с Уэстоном ничего не получится, тогда, возможно, мне понадобится твоя помощь.

Райланд фыркает:

— Неохота так говорить, но Уэстон — лучший вариант. Он, может, и странный, но по части любой музыки просто зверский талантище. Если тебе кто и поможет разучить дуэт к сроку, так это он.

— Эй! — восклицает Лорен, подозрительно быстро переключаясь со своего притворно увлекательного разговора. — Я уже предложила Анне помощь!

Райланд улыбается ей поверх моей макушки:

— Ага, можно подумать, ей нужна помощь пикколо. Ты у нас единственная пикколо по одной простой причине: никому не вынести двух пикколо сразу.

— Я — единственная флейта-пикколо, потому что я лучшая! — Лорен хватается за печенье с подноса Райланда и проворно закидывает в рот.

Но Райланда этим не собьешь.

— Хочешь узнать, как заставить две флейты-пикколо играть слаженно? — растягивая слова, произносит он.

Лорен испепеляет его взглядом.

— Для этого одну придется убить.

— Ха-ха. Офигеть как смешно. Лопнуть можно. По крайней мере, мне не приходится бежать к медсестре с занозой в губе.

Райланд закатывает глаза и направляется к своему столу, бросив через плечо:

— По крайней мере, мой инструмент слышно с расстояния более трех метров.

Лорен поворачивается к нам:

— Ах, так я недостаточно громко играю? В моей секции четыре человека. Че-ты-ре. А у Райланда семь. И все равно мистер Брант каждую репетицию требует, чтобы играли погромче.

— Разве вы с Райландом не ходите вместе в молодежную группу при Первой баптистской? — застенчиво спрашивает Кристин.

— Да, к счастью. Только Господь способен помочь этому мальчику, благослови его небо, — отвечает Лорен.

— Гм, вообще-то раньше они еще и встречались, — добавляет Энди и кладет передо мной еще одно печенье.

— Так вы друг друга ненавидите? — уточняет Кристин.

Лорен фыркает:

— Ой, что ты. Если мы тут будем ненавидеть каждого из оркестра, с кем бегали на свиданки, тогда и друзей не останется. Энди вот ходит в духовую секцию как на работу.

— Ну уж извините. Я продвигаю межсекционные отношения, — возражает Энди. — Нелегкая ноша, но кто-то должен делать это дело.

— Ах, какой герой, — невозмутимо вставляю я.

— А еще прошлогодняя эпидемия мононуклеоза разразилась исключительно по его вине, — добавляет Лорен, забрасывая в рот крошечную морковку.

— А вот и нет. Все из-за вас, духовых, с вашей отвратной привычкой капать слюной на пол и везде ее разбрызгивать. А вот от ударных никаких физиологических жидкостей. Разве что кровь, пот и слезы.

От этих веселых препирательств тугой узел, в который у меня с самой репетиции завязались внутренности, расслабляется. Целый урок истории и потом испанского я так и смянула в голове события этого утра, и они успели разрастись до чудовищных размеров Годзиллы, уничтожив все остальное.

Но сейчас, когда Лорен и Энди весело препираются, а Кристин боится рассмеяться, но не выдерживает и хохочет, мне уже кажется, что мое положение не так ужасно. Год ведь еще только начинается. И я успею утрясти проблемы. Теням меня не одолеть.

К тому времени, как раздается звонок с большой перемены, я уже почти убедила себя — все хорошо. Но потом кожу вдруг начинает покалывать от чьего-то взгляда, и точно — вот он, Уэстон Райан, с кожаной курткой, перекинутой через руку, прислонился к кирпичной стене у лестницы.

Когда мои карие глаза встречаются с его голубыми, внутри снова все сжимается, но как-то по-новому — скорее приятно. Да, приятно.

— Э-э... мне надо с ним поговорить, — сообщаю я Лорен, кивнув в сторону Уэстона. — Увидимся на уроке. Прихватишь мой учебник для подготовительного курса, он у меня в шкафчике?

Лорен тоже смотрит на Уэстона, но прищурившись:

— Анна, он странный. Очень странный. Может, мне все-таки пойти с тобой?

Я отрываю взгляд от Уэстона и слегка поворачиваюсь, чтобы он не видел, как шевелятся мои губы.